

Сергей Патрушев

# Апокалипсис. Начало конца



Сергей Патрушев  
**Апокалипсис. Начало конца**

«Автор»

2026

## **Патрушев С.**

Апокалипсис. Начало конца / С. Патрушев — «Автор», 2026

Роман «Мозаика безвременья» — это многослойная постапокалиптическая сага, в которой крушение привычного мира становится не финалом, а точкой отсчета для новой истории человечества. Молодой ученый-семиотик Арсений Миронов, изучавший утопические тексты, в одно мгновение теряет все: цивилизация гибнет не от ядерного огня, а от «информационной атаки» — холодного света, стирающего саму суть вещей. Уцелев лишь чудом в лабиринтах московского метро, он вместе с горсткой выживших пытается не просто спастись, но и осмыслить произошедшее. Однако реальность продолжает мутировать: оживают древние механизмы, пробуждаются неведомые сущности, а сам воздух начинает звучать, как симфония, в которой слышны и угроза, и обещание. Шаг за шагом, от главы к главе, герои проходят путь от животного страха к осознанному созиданию.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Глава	5
Глава 1. В которой свет сворачивается, как свиток	5
Глава 2. В которой мы спускаемся в царство теней и стука	10
Глава 3. В которой ветры приносят запах конца	14
Глава 4. В которой мы шьем доспехи из страха	18
Глава 5. В которой слово становится пулей	23
Глава 6. В которой исцеление требует жертв	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# Апокалипсис. Начало конца

## Глава

### Глава 1. В которой свет сворачивается, как свиток

Говорят, мир рушится не с грохотом, а со вздохом. Ложь. Сладкая, убаюкивающая ложь, придуманная теми, кто никогда не стоял на краю, глядя, как само пространство идет рябью, словно поверхность пруда, куда швырнули камень размером с небоскреб. Наш мир рухнул именно с грохотом, но звук этот был настолько нечеловеческим, настолько выходящим за пределы слышимого спектра, что большинство людей просто упали замертво с лопнувшими барабанными перепонками и кровью, хлынувшей из глаз. Я выжил лишь потому, что в тот момент находился в акустической тени — в подвале университетской библиотеки, заставленном стеллажами с газетными подшивками, где сам воздух, казалось, состоял из целлюлозной пыли и тишины.

Я помню тот день с мучительной, фотографической ясностью, которая, боюсь, останется со мной навсегда, переживет мое тело и впечатается в саму мою душу, если таковая, конечно, существует. Был обыкновенный вторник. Я работал над своей диссертацией, темой которой была «Семиотика утопических текстов в эпоху постмодерна». Какая горькая, убийственная ирония. Я препарировал мертвые языки несбывшихся надежд в тот самый момент, когда сам мир готовился стать последней, самой жестокой утопией — утопией чистого листа. Я сидел в своем любимом кресле, обитом потрескавшимся зеленым дерматином, под лампой, отбрасывавшей круг теплого желтого света. Вокруг меня громоздились тома, пахнущие ванилью разлагающегося клея и плесенью, — окаменелые останки чужих грез. Я вчитывался в абзац о Томасе Море и его идеальном острове, когда мигнула лампа. Просто жалобно моргнула, будто уставший глаз, и свет на секунду стал тускло-оранжевым, прежде чем вернуться к норме. Я не придумал этому значения. Списал на старение проводки в этом древнем здании, построенном задолго до того, как само слово «электричество» стало означать нечто большее, чем свойство янтаря.

Вторым предвестником была тишина. Не мягкая, уютная тишина читального зала, нарушаемая лишь шелестом страниц и покашливанием, а внезапная, абсолютная, будто кто-то выключил рубильник звука во всем мире. С улицы, где обычно слышался ровный гул машин, редкие гудки и обрывки разговоров, не доносилось ни шороха. Я поднял голову от книги, и именно в этот момент задрожали стеллажи. Сначала мелко, как в ознобе, потом все сильнее, и книги начали выпадать из своих гнезд, глухо ударяясь о бетонный пол. Я инстинктивно вскочил, думая о землетрясении, но это было не оно. Пол под ногами не трясся, он... вибрировал, и вибрация эта шла не снизу, а, казалось, отовсюду, пронизывая стены, воздух, мои кости. А затем пришел звук.

Я не могу назвать это звуком в привычном понимании. Это была не высокая нота и не низкий гул. Это был сам разрыв ткани реальности, антизвук, который поглощал все остальные звуки, втягивая их в себя, как черная дыра втягивает свет. Это было вселенское «хрусть», умноженное на бесконечность, и оно резонировало не в ушах, а прямо в мозгу, в лимбической системе, вызывая первобытный, животный ужас, какого я никогда не испытывал. Я закричал,

но не услышал собственного голоса. Я видел, как в библиотечном зале, этажом выше, через стеклянную крышу, само небо пошло трещинами. Это не метафора. Голубой полуденный свод покрылся сетью черных, абсолютно черных линий, как лопнувшее яйцо. Из этих трещин хлынул свет. Но это был не солнечный свет, не электрический и не лунный. У него не было источника и направления. Это был холодный, лишенный теней свет, имевший цвет, которому нет названия в человеческом языке — не белый, не серый, не фиолетовый. Свет абсолютного отрицания, свет, который не освещал, а аннигилировал.

Я бросился вниз, в подвал, повинуюсь инстинкту, который был древнее меня, древнее самого человека. Инстинкту крысы, бегущей с тонущего корабля в единственное доступное укрытие. Позади меня, там, где только что был читальный зал с его высокими окнами, я увидел, как массивные дубовые столы и фигуры людей, застывших в беззвучных криках, начали... распадаться. Не гореть, не взрываться, а именно распадаться на составные части — не на молекулы, а на смыслы. Я видел краем глаза, как один аспирант, с которым мы здоровались по утрам, на секунду стал плоским, как фотография, а затем и фотография эта рассыпалась в набор геометрических фигур, которые, в свою очередь, растаяли в этом всепоглощающем свете. Пространство сворачивалось, как лист бумаги, брошенный в огонь, скручиваясь в спираль небытия. Я кубарем скатился по лестнице в спасительный полумрак подвала, чувствуя, как давление этого света, этого звука, этого первобытного ужаса сжимает мои внутренности в тугую, холодный ком.

Я забился в самый дальний угол, между старым чугунным радиатором и стеной, заставленной картотекой, и зажал уши руками, крепко зажмурившись, как ребенок, прячущийся от ночного кошмара. Я не знаю, сколько это длилось. Время перестало быть рекой, оно стало вязким, как смола, и застыло. В моей голове взрывались сверхновые боли, каждая клетка тела визжала на своей собственной, отдельной частоте. Я чувствовал, как меня разбирают, разбирают на части, как мое «я» — этот хрупкий набор воспоминаний, желаний и страхов — растворяется в каком-то универсальном растворителе. Я попытался уцепиться за что-то, за какую-то мысль. «Семиотика утопических текстов». Смешно. Я попытался представить лицо матери, но увидел лишь размытое пятно. Я попытался вспомнить вкус яблока — и не смог. Символы, из которых состоял мой разум, один за другим теряли связь с означаемым, превращаясь в пустые, мертвые звуки. Я уже не был Арсением Мироновым, двадцатисемилетним аспирантом, я был сгустком чистой, вибрирующей материи ужаса.

И вдруг все прекратилось. Звук исчез не постепенно, а разом, словно захлопнулась дверь в другую вселенную. Тишина наступила такая глубокая, что я слышал, как течет кровь в моих собственных венах — медленный, пугающе громкий шепот. Давление исчезло. Я все еще боялся открыть глаза. Мне казалось, что стоит мне поднять веки, и я увижу нечто, что навсегда разрушит мой рассудок, и без того едва державшийся на ниточке. Но любопытство, проклятое наследие человеческой природы, оказалось сильнее. Сначала я просто приоткрыл один глаз, глядя в пол. Серый бетон, каким он и был. Слабая, абсурдная надежда вспыхнула во мне. Может, ничего и не было? Может, это какая-то галлюцинация, вызванная переутомлением? Я поднял голову.

Подвал был цел. Картотека, стеллажи, радиатор — все на своих местах. Лампочка под потолком, затянута проволочной сеткой, больше не горела, но в помещении было светло. Свет был ровный, сумеречный, без теней. Он не имел источника. Я поднялся на ноги, чувствуя себя так, будто меня пропустили через гигантскую мясорубку и собрали заново, перепутав некоторые детали. Каждое движение отдавалось болью в суставах, а кожа на лице и руках была

странно натянутой и сухой. Я направился к лестнице, и каждый шаг отдавался эхом в гулкой тишине подвала. Ступеньки. Я помню каждую из этих двадцати семи бетонных ступеней, выщербленных и стертых ногами поколений студентов. Подъем казался бесконечным.

Когда я поднялся, то первое, что я увидел, было небо. Точнее, то, что от него осталось. Крыши над библиотекой больше не было. Как и верхних этажей. Я стоял на гряде битого кирпича и стекла под открытым небом, которое стало чужим. Оно больше не было голубым, серым или ночным. Оно было цвета застарелого синяка, темно-фиолетовым с грязно-желтыми разводами, и в нем висели звезды. Но это были не те звезды, что я знал. Они были слишком крупными, слишком яркими, и они складывались в совершенно незнакомые созвездия, в странные, геометрически правильные узоры. И ни одно из них не мерцало. Они глядели на землю с холодным, безжалостным любопытством.

Вокруг меня простирался ландшафт, лишенный логики. Здания университетского кампуса не были разрушены в привычном смысле. Некоторые из них стояли нетронутыми, но их архитектура казалась... неправильной. Углы, которые должны были составлять девяносто градусов, были острыми или тупыми, стены изгибались под неестественными углами, как в кривом зеркале. Другие здания были «сложены», будто дома-раскладушки, их этажи вошли друг в друга, как части телескопа. А некоторые, наоборот, были разобраны на гигантские куски и расставлены на земле в строгом, непонятном порядке, словно детские кубики, которыми играл великан-аутист. Между ними струился, переливался, тек медленной рекой... снег? Песок? Нет, это была субстанция, похожая на серый, зернистый пепел, которая текла, как жидкость, образуя медленные водовороты и завихрения, но при этом не оставляла влажного следа.

Но страшнее всего была тишина. И пустота. Я не видел ни одного тела. Вообще. Ни крови, ни останков, ничего. Только одежда. Кое-где, на развалинах, лежали комплекты одежды — рубашки, брюки, платья, пальто, — аккуратно разложенные, будто их владельцы просто растворились в воздухе, оставив после себя эту тканевую скорлупу. Я подошел к одному такому комплекту — знакомому синему свитеру профессора Корчагина, который тот всегда носил с кожаными заплатками на локтях. Свитер лежал на куске раздробленного бетона, сохраняя форму тела — чуть сторбленных плеч, сутулой спины. Я наклонился и коснулся его. Ткань была холодной. Не как в морг, нет. Она была термически нейтральной, как будто сама концепция температуры больше к ней не применялась. Меня охватил не ужас, нет. Ужас — это острое, горячее чувство. Меня наполнило нечто иное — космическое, ледяное одиночество, от которого кровь стынет не в жилах, а где-то глубже, в костном мозге.

Я начал бесцельно бродить по этому новому миру. Мой разум, воспитанный на анализе текстов, судорожно пытался найти интерпретационную рамку, ключ к расшифровке этого кошмара. «Апокалипсис» — всплыло из глубин памяти. Да, это греческое слово означает не просто «конец», но «раскрытие», «снятие покров». Так вот в чем дело. С реальности сорвали покров, обнажив ее подлинное, безумное устройство. Мы жили на тонкой пленке смысла, натянутой над бездной чистого хаоса, и теперь пленка лопнула. Все наши координаты — время, пространство, причинность — были просто условностями, договоренностями, которые аннулированы. В этом новом мире царит иная логика, логика сна, идиотическая и неумолимая.

Доказательство этому я нашел через несколько часов (или минут? Мое чувство времени, как старые механические часы, то спешило, то безнадежно отставало). Я вышел на площадь перед университетом, где раньше стоял памятник Ломоносову. Памятник исчез. Вместо него, в самом центре площади, из земли росли деревья. Но это были не сосны, не дубы, не березы.

Их стволы были прямыми, как мачты, и идеально гладкими, цвета полированной кости. Вместо ветвей у них были... щупальца? Антенны? Сотни тонких, серебристых нитей, которые медленно шевелились в неподвижном воздухе, переливаясь перламутром. Они не издавали ни звука, но я почти физически ощущал исходящий от них гул, низкочастотную вибрацию, которая отдавалась в зубах. Я смотрел на них, и в моей голове сами собой начали всплывать образы — геометрические фигуры, формулы, которых я никогда не знал, схемы невообразимых машин. Они не пытались общаться, они просто... транслировали свое бытие, и мой разум, как пустой приемник, ловил эти сигналы, перерабатывая их в доступные мне символы.

Я отпрянул, зажмурившись, пытаюсь вытолкнуть это чужеродное знание из своего сознания. Оно ощущалось как грязь, как нечто стерильное и одновременно заразное. Вот что такое ад. Не сковороды и черти. А полное одиночество среди непостижимых смыслов, которые ты не можешь ни принять, ни отвергнуть, потому что ты всего лишь букашка перед их бездонной сложностью. Я был единственным человеком, оставшимся в мире, который стал чужим музеем, чья экспозиция была собрана безумным куратором.

К вечеру (свет неба не менялся, но мои внутренние биологические часы кричали об изнеможении) я наткнулся на первого другого выжившего. Я шел по бывшей улице, теперь представлявшей собой каньон из расколотых фасадов, заполненный все тем же медленным, пылевым потоком, когда услышал звук. Человеческий звук. Плач. Рыдания, доносящиеся из оконного проема на втором этаже уцелевшей стены. Я вскарабкался по груде обломков и заглянул внутрь. Там, в углу, забились в комок девушка. У нее были длинные, спутанные светлые волосы, и она была босиком. Ее одежда была разорвана, а лицо перепачкано серой пылью, по которой пролегли мокрые дорожки от слез. Она раскачивалась взад-вперед и выла, тихо, на одной ноте. Это был самый прекрасный и самый ужасный звук из всех, что я слышал. Звук жизни.

— Эй, — позвал я, и мой собственный голос показался мне карканьем ворона.

Она дернулась и подняла на меня глаза. Это были глаза человека, который заглянул в ту же бездну, что и я, и увидел там, возможно, даже больше моего. В них застыл такой чистый, незамутненный ужас, что у меня перехватило дыхание.

— Ты... ты реален? — прошептала она, и в ее голосе было столько отчаянной надежды, что я чуть не разрыдался сам.

— Да, — ответил я, сам не до конца в это веря. — Я такой же, как ты. Я выжил. Я не знаю как.

— Я тоже не знаю, — ее голос сорвался. — Я была в церкви. Я зашла поставить свечку за упокой бабушки. А потом... витражи взорвались светом. Но свет был не божественным. Он был... голодным. Он поглотил всех. Всех, кто молился. Меня он почему-то не тронул. Будто я была для него пустым местом. Как думаешь, почему мы? Почему именно мы остались?

Я не знал ответа. Я сел рядом с ней на холодный бетон, и мы долго молчали. Два уцелевших, две песчинки, застрявшие в шестеренках космических часов. Она рассказала, что ее зовут Анна. Студентка-медичка с четвертого курса. Я представился. Мы не строили планов. Мы не говорили о спасении или о будущем. Мы просто сидели рядом, делясь теплом наших тел, и это было единственным, что имело значение. Потому что в мире, где законы физики стали лишь бледной тенью былого, а тишина давила на барабанные перепонки, человеческое присутствие было единственным доказательством того, что мы еще существуем. С наступлением сумерек, которые здесь были лишь оттенком того же синячного неба, мы услышали новый звук. Не звук, а ритм. Глухой, размеренный стук, доносящийся откуда-то из-под земли, из-

под руин библиотеки. Он звучал не как биение сердца, но как работа огромного, неумолимого механизма. Механизма, который проснулся. Анна прижалась ко мне, и я почувствовал, как ее бьет дрожь.

— Это началось, — прошептала она. — Когда исчезли люди, проснулось что-то другое. То, для чего мы были просто... помехой.

И я понял, что наш персональный апокалипсис, наше «раскрытие», только начинается.

## Глава 2. В которой мы спускаемся в царство теней и стука

Мы не сговариваясь, не произнеся больше ни слова, начали двигаться. Страх — отличный организатор, лучший, чем любой главнокомандующий. Он разом отключил и мое академическое стремление к осмыслению, и парализующий ступор Анны, превратив нас в два сгустка чистого, биологического инстинкта выживания. Ритмичный, механический стук, доносившийся из недр земли, не был громким, но он пронизывал все вокруг, словно костная вибрация, словно само основание реальности теперь работало в такт этому чудовищному метроному. Он не сулил ничего хорошего. Ничто, издающее такой звук, не предназначалось для человеческого восприятия, и уж тем более не желало нам добра.

Поверхность больше не была убежищем. Она была открытой раной, витриной для равнодушных, чужих звезд и ареной для непостижимых трансформаций. Мы нуждались в укрытии. В норе. В любом месте, где можно было бы заслонить спину, где давление этого безумного неба перестало бы физически давить на плечи, словно многокилометровая толща воды. Взгляд Анны, все еще залитый ужасом, но уже с проблесками лихорадочной, отчаянной ясности, встретился с моим. Она не спросила «куда?», она прошептала одними губами: «Метро». И это было единственно верным решением. Лабиринт под брюхом умирающего города, рукотворные пещеры, которые на протяжении поколений служили и бомбоубежищами, и царством маргиналов, и просто местом, куда не долетает дневной свет. Теперь он не долетал вовсе, и это было нашим спасением.

Мы двинулись сквозь серый, струящийся прах, который был теперь вместо воздуха у земли. Он обтекал наши ноги, создавая медленные, ленивые водовороты, и от прикосновения к нему кожу покалывало, будто слабым электрическим током. Ориентироваться было почти невозможно. Улицы, которые я знал с детства, перестали быть улицами. Они стали каньонами, лабиринтами, где фасады зданий сошлись, как ледяные торосы, или, наоборот, разошлись, открывая зияющие провалы, заполненные все той же неземной, синячной мглой. Памятник Пушкину на том месте, где ему и положено быть, стоял. Но он стоял вниз головой, вращая постаментом в пустое небо, а его бронзовая голова уходила куда-то в толщу земли, и из-под нее, словно корни, пробивались те самые костяные деревья с серебристыми щупальцами-антеннами. Мы обошли его стороной, стараясь не смотреть. Анна крепко, до боли вцепилась в мое предплечье. Ее пальцы были ледяными, но само прикосновение дарило мне почти религиозное чувство — я не один. Я не один в этом кошмаре. Эта мысль была единственным якорем, удерживающим мой рассудок от финального соскальзывания в бездну чистого, белого безумия.

Вход в метро мы нашли по запаху. Нет, не по запаху привычной подземки — прелой сырости, креозота и резины. Здесь, где все прежние законы были отменены, пахло иначе. Из темного провала, ведущего под землю, тянуло озоном и чем-то еще, чему я долго не мог подобрать названия. А потом понял: так пахнет сварка. Горячий металл, горелая изоляция, искры. И этот запах смешивался с ледяным, стерильным воздухом поверхности, создавая коктейль, от которого першило в горле. Ступени, ведущие вниз, были на месте. Обыкновенные гранитные ступени, стертые миллионами шагов. Только сейчас они были покрыты не мусором и пылью, а тонким, хрустящим слоем инея. Иней был не водяной. Он не таял от нашего дыхания, и его кристаллы, видимые даже в полумраке, имели геометрически совершенную, но совершенно

чуждую глазу форму — не шестиугольники снежинок, а сложные десяти- и двенадцатигранники, слабо мерцавшие собственным, внутренним светом.

Мы начали спуск. Анна шагнула первой, и я заметил, что она перекрестилась — быстрый, почти незаметный жест, но от этого он не стал менее красноречивым. В ее мире еще оставался Бог, пусть и сильно потрепанный, пусть и допустивший этот апокалипсис. В моем мире Бога не было уже давно, а теперь его место занял холодный, математический ужас неведомых законов мироздания. Чем глубже мы спускались, тем тише становился рокот поверхности и тем громче — тот самый ритмичный стук. Здесь, в бетонной кишке эскалатора, застывшего мертвой змеей, звук приобрел объем, глубину. Он резонировал в стенах, он исходил отовсюду, и я понял вдруг ужасную вещь: мы спускались не в убежище. Мы шли прямо в глотку зверя, издающего этот звук. Но пути назад уже не было. Там, наверху, было слишком открыто, слишком пусто, слишком чуждо. А человек, даже загнанный в угол, выбирает знакомый страх перед замкнутым пространством, а не космический ужас перед открытым небом, на котором висит чужая геометрия звезд.

Внизу, в вестибюле, царил хаос, который говорил о внезапном, паническом бегстве. Турникеты были выворочены с корнем, как гнилые зубы. Кассы зияли пустыми, темными провалами. На полу, вперемешку с тем же инеем, валялись сумки, телефоны, чьи-то очки, детская игрушка — плюшевый заяц с оторванным ухом. Но, как и наверху, не было ни одного тела. Только вещи, только скорлупа, оставленная исчезнувшими людьми. Анна подняла зайца, посмотрела на него секунду и аккуратно, почти нежно положила на стойку дежурного, где обычно сидят охранники. В этом жесте было столько беспомощной человечности, что у меня защипало в глазах. Мы хотели соблюдать ритуалы, даже когда смысл их был утерян навсегда. Мы хотели порядка посреди энтропии.

Мы спустились еще ниже, на платформу. Здесь было темнее, но тьма была не полной. Стены и своды были покрыты той же самой субстанцией, что текла реками на поверхности — серым, зернистым прахом, но здесь он светился. Слабо, фосфоресцирующим, болотным светом, пульсирующим в такт ударам неведомого сердца. Туннели, уходящие в черноту справа и слева от платформы, казались не транспортными артериями, а бронхами какого-то колоссального существа. В них гулял сквозняк, но он не был порывистым и хаотичным. Он был ритмичным, как дыхание. Вдох — поток холодного, пахнувшего озоном воздуха из левого туннеля. Выдох — поток теплого, насыщенного металлическим запахом воздуха из правого. Мы стояли на перроне, словно на гортани Левиафана.

— Нужно искать других, — прошептала Анна. Ее голос гулким эхом разлетелся под сводами, и я вздрогнул. Тишина здесь, несмотря на стук и дыхание, стояла звенящая, и любой человеческий звук казался в ней святотатством. — Должны быть еще выжившие. Мы не можем быть единственными.

Я кивнул. Это было логично. И это давало цель. Не просто прятаться, а искать, объединяться, создавать новое племя в брюхе этого нового мира. Мы двинулись вдоль платформы, заглядывая в каждый закуток, в каждую нишу. Мы нашли брошенный киоск с прессой, где журналы за прошлую среду выглядели как артефакты с Атлантиды — такие нормальные, такие далекие с их новостями о политике и спорте. Мы нашли чей-то термос с еще теплым чаем, что было невозможно, но факт оставался фактом — чай был теплым, будто его налили минуту назад, и это пугало больше, чем ходящие ходуном законы термодинамики.

А потом мы нашли первого выжившего в метро. Мы услышали тихое бормотание, доносившееся из комнаты отдыха для машинистов. Дверь была приоткрыта, и из щели лился неровный, живой, оранжевый свет. Свет огня. Не той холодной, аннигилирующей иллюминации, что разрушила мир, а старого доброго, потрескивающего, пахнущего дымом пламени. Мы вошли. Посреди комнаты, на куче тряпья и обрывков картона, сидел человек. Старик. Очень старый, с лицом, похожим на кору дерева, и белыми, как лунь, волосами, торчащими в разные стороны. Перед ним горел небольшой костер, сложенный из обломков деревянных ящиков и книг. Книги он рвал, не глядя на названия, и я заметил томик стихов Бродского, пожираемый пламенем. В этом была какая-то чудовищная, окончательная метафора.

Он не испугался, увидев нас. Он поднял глаза, и в них, в отблесках костра, я не увидел того космического ужаса, что застыл в глазах Анны. Я увидел что-то другое. Тихий, уютный, почти домашний психоз. Он улыбнулся беззубым ртом и поманил нас скрюченным пальцем.

— А, молодые, — прошамкал он. — Пришли. А я вас ждал. Знал, что придете. Садитесь к огоньку, грейтесь. Тут холодно стало, когда Сердце забилося.

— Сердце? — переспросила Анна, присаживаясь на корточки и протягивая руки к живительному теплу. — Что вы имеете в виду?

— Ну как же, — старик постучал себя по тощей груди, потом ткнул пальцем в пол, в направлении источника ритмичного гула. — Там. В глубине. Оно всегда там было. Спало. Дремало, как младенец в колыбели. А мы сверху копошились, шумели, поезда туда-сюда гоняли, музыку свою дурацкую слушали. Оно терпело. А теперь мы заткнулись. Надолго заткнулись. Вот Оно и проснулось. И дышит. Слышите? Вдо-ох... Вы-выдох... Растем, значит.

Он говорил об этом с такой обыденной, жуткой интонацией, словно объяснял устройство водопровода. Мы переглянулись с Анной. Безумен ли он? Несомненно. Но был ли он не прав? Что, если все наши научные выкладки, вся наша физика и семиотика были лишь рябью на поверхности, а внизу, в ядре мира, всегда спал этот до-временной, до-разумный ритм? И теперь, когда человечество со всем его культурным шумом исчезло, этот ритм стал слышен. Стал господствующим.

— А другие? — спросил я. — Вы видели здесь еще людей?

Старик кивнул, роняя слюну в костер.

— Были. Приходили. Уходили. В туннель ушли. Туда, — он махнул рукой в сторону правого, «выдыхающего» туннеля. — Сказали, надо идти к Центру. Там, говорят, свет есть другой. Не тот, что нас убил, а наш. Родной. И голоса слышны. Может, там и ответы есть. Может, там и Бог теперь поселился, раз из храмов всех выгнали.

Анна впитывала каждое его слово. В ее глазах загорелась та самая опасная, фанатичная искра надежды. Надежды на то, что у этого хаоса есть Центр. Что есть причина и следствие, есть пункт назначения, а не просто бесконечное блуждание в сером прахе. Я был настроен более скептически. Я слишком хорошо помнил семиотику утопий. Любая утопия, любое стремление к центру, к абсолюту, заканчивалось одинаково — кровью и разочарованием. Но выбора не было. Остаться здесь, в компании сумасшедшего старика и его костра из книг, было невыносимо. Идти назад, на поверхность, под взгляд чужих звезд — самоубийство. Оставался только путь вперед, в темноту, в ритм, в надежде найти этот мифический Центр, где якобы живут другие и горит «родной свет».

Мы попросились со стариком. Он на прощание сунул Анне обгоревшую картофелину, которую испек в золе, неизвестно где добытую. Она взяла ее с благоговением, как святой хлеб. И мы шагнули в зев правого туннеля. Теплый, металлический выдох ударил в лицо. Стук стал

громче, он уже не просто слышался, он ощущался всем телом. Мы шли по шпалам, спотыкаясь в темноте, освещаемой лишь слабым свечением праха на стенах да моим телефоном, который я берег как зеницу ока, хотя зарядки оставалось на десять процентов. Мы шли и шли, и время снова потеряло свой смысл, превратившись в монотонный отсчет шагов и ударов Великого Сердца.

Через какое-то время мы начали находить следы тех, кто прошел здесь до нас. Надписи мелом на стенах. Стрелки. «Идите на свет». «Не сворачивайте на развилке». «Бойтесь Безликих». Имена. Люди подписывали свои имена, словно оставляя послание в бутылке, словно пытаясь утвердить свое бытие в этом пожирающем индивидуальность мраке. «Здесь был Олег». «Лена, мы идем к станции Маяковская». «Витя, если ты читаешь это, я жива. Ищи меня в центре». Я смотрел на эти каракули, и к горлу подкатывал ком. Трагедия была не в гибели мира, а в этих разорванных связях. В этом Вите, который, возможно, никогда не найдет свою Лену. В этих голосах, пытающихся перекричать ритм чудовищного сердца.

А потом мы услышали первый настоящий человеческий голос, доносящийся из глубины туннеля. Не шепот, не плач, а крик. Крик предупреждения, полный ужаса.

— Бегите! Не стойте! Бегите от света!

И в тот же миг тьма туннеля впереди нас озарилась вспышкой. Но это был не теплый, «родной» свет, о котором говорил старик. Это был тот самый, холодный, лишенный теней свет абсолютного отрицания, который я видел в момент апокалипсиса. Он вырвался из бокового прохода и начал заливать туннель, медленно, неумолимо, как ртуть. И в его лучах я увидел их. Безликих. Сущест, которые были не людьми и не тенями, а чем-то средним. Силуэты, сотканные из отсутствия света, движущиеся рывками, как в старом, бракованном фильме. Они не шли. Они скользили в этом свете, и их пустые, гладкие, как яйцо, лица были повернуты к нам.

Анна вскрикнула, и этот звук мгновенно утонул в торжествующем гуле проснувшегося механизма. Мы побежали.

### Глава 3. В которой ветры приносят запах конца

Мы бежали. Бежали так, как не бегали никогда в жизни, — не по стадиону, не за уходящим автобусом, а из последнего, животного предела, когда каждая клетка тела кричит об опасности, а разум отключается, уступая место древним, рептильным инстинктам. Под ногами хрустел щебень и шпалы, слабое свечение стен смазывалось в полосы, а наше дыхание — ровное, хриплое, синхронное — казалось единственным доказательством того, что мы еще живы, еще люди, еще не стали теми безмолвными силуэтами, что скользили позади в потоках холодного, всеуничтожающего света.

Анна споткнулась первой. Я услышал ее сдавленный вскрик, обернулся на бегу и увидел, как она падает, цепляясь руками за воздух, в котором не было за что уцепиться. Я рванул назад, подхватил ее под мышки, чувствуя, как мое сердце колотится где-то в горле, и почти волоком потащил дальше, в спасительный мрак туннеля. Свет за нашими спинами остановился. Не знаю почему. Может быть, у него был свой предел распространения, свой берег. А может, ему просто надоело гнаться за такой мелкой, ничтожной добычей. Но когда мы, окончательно выбившись из сил, рухнули на холодный бетонный пол в полной темноте, этот убийственный свет исчез так же внезапно, как и появился. Мы остались вдвоем, в тишине, нарушаемой только нашим судорожным дыханием и ровным, как метроном, биением подземного Сердца.

— Ты как? — прошептал я, все еще не решаясь включить телефон и тратить последние крохи заряда.

— Жива, — выдохнула она, и в ее голосе мне послышалось что-то новое. Не обреченность жертвы, а мрачная, закаленная решимость. — Кажется, у меня вывихнута лодыжка. Но это ерунда. Ты видел их? Видел их лица?

— У них не было лиц.

— Вот именно. Это страшнее. Гораздо страшнее.

Мы сидели в темноте, и я слушал, как она, преодолевая боль, вправляет себе сустав. Она была медиком, пусть и недоучившимся, и ее практические навыки сейчас стоили больше, чем вся моя докторская степень по семиотике. Я, гуманитарий до мозга костей, умел анализировать тексты, но не умел вправлять кости. Мои знания оказались бесполезны в мире, где само понятие текста было аннигилировано. И от этого осознания меня накрыла вторая, более глубокая волна отчаяния. Кто я теперь? Балласт. Еще один рот. Архивариус мёртвого мира.

Мы продолжили путь, когда дыхание восстановилось, а боль в ноге Анны превратилась из острой в тупую, ноющую. Она хромала, опираясь на мое плечо, и мы шли так, шаг за шагом, все глубже и глубже в лабиринт московского метро, которое теперь напоминало не транспортную систему, а бесконечные катакомбы, кишки какого-то геологического монстра. Станции, которые мы проходили, были неузнаваемы. Архитектурные излишества, которыми так гордился «подземный дворец», изменились. Мозаики, барельефы, лепнина — все потекло, словно воск, переплавилось в новые, чудовищные формы. Бронзовые скульптуры пограничников с собаками на «Площади Революции» теперь стояли не гордо и прямо, а скрючившись, припав к земле, и их лица, если можно так назвать то, во что они превратились, были искажены гримасой нечеловеческого страдания. Анна старалась не смотреть на них. Я же, напротив, не мог отвести взгляд. Мой аналитический ум пытался найти систему в этом безумии, но системы не было. Был только хаос, управляемый чужой, враждебной волей.

Мы шли, ориентируясь по указателям, оставленным предыдущими выжившими, и по едва заметным сквознякам. И вот тут-то ветер начал меняться. Сначала это было почти незаметно. Легкое дуновение, сменившее ритмичное дыхание туннелей. Затем поток воздуха стал более ощутимым, более настойчивым. Он нес с собой запах. И это был не металлический, озоновый запах «Сердца», не затхлая сырость подземелья, а нечто совершенно иное. Так пахнет мир перед грозой — пылью, сухой травой, электричеством и тревогой. Но откуда здесь, глубоко под землей, мог взяться запах сухой травы? Мы переглянулись с Анной, и я увидел в ее глазах отражение собственного недоумения. В этом новом мире любая аномалия могла означать как спасение, так и новую, еще более изощренную гибель.

— Чувствуешь? — прошептала она, останавливаясь и втягивая воздух, словно зверь.

— Да. Выход? Но до ближайшего выхода на поверхность еще далеко.

— Это не простой ветер. Он... тёплый. И пахнет... пеплом. Нет, не тем серым прахом, что течет наверху. Это запах костра. Древесного дыма. Живого огня.

Мы ускорили шаг, насколько позволяла травмированная нога Анны. Ветер крепчал, превращаясь из дуновения в устойчивый, порывистый поток. Теперь он не просто пах дымом, он нес с собой частицы. Мелкие, хлопьеобразные, они кружились в лучах моего телефона, словно снег. Только снег этот был черным и жирным на ощупь. Настоящий пепел. Такой, какой остается после большого пожара. Он оседал на нашей одежде, на волосах, на губах, оставляя горьковатый привкус. Мы шли, а ветер выл в туннелях, создавая странную, диссонансную музыку, похожую на заунывное пение. Он дергал нашу одежду, толкал в спины, словно подгоняя, словно желая, чтобы мы шли быстрее к чему-то, что он хотел нам показать.

Наконец, туннель кончился. Мы вышли на очередную станцию, и тут нас встретил он. Ветер во всей своей ярости и величии. Он гулял по просторному вестибюлю, вздымая вихри черного пепла с пола, завывая в проломах сводов, через которые было видно все то же больное, синячное небо. Это была станция «Маяковская», или то, во что она превратилась. Ее знаменитые стальные арки изогнулись, как ребра гигантского ископаемого ящера. Купола с мозаиками, изображавшими светлое советское будущее, были разбиты, и из дыр свисали не провода, а толстые, мясистые стебли каких-то подземных растений, пульсирующие в такт ритму Сердца. А в центре зала, там, где раньше был переход на другую линию, зиял огромный провал, из которого и вырывался этот аномальный, несущий пепел ветер.

Но самым поразительным было не это. Самым поразительным были люди. Здесь было многолюдно. Десятки, возможно, сотни выживших. Они соорудили лагерь прямо на платформе. Горели костры, дававшие тот самый живой, оранжевый свет и тот самый запах древесного дыма, который мы почуяли издалека. Люди сутились, перетаскивали какие-то тюки, разбирали завалы. У них были изможденные, грязные лица, но в их движениях чувствовалась не обреченность, а цель. Нас заметили почти сразу. Несколько мужчин, вооруженных арматурой и обрезками труб, направились к нам. Вид у них был недружелюбный, но не враждебный. Скорее, оценивающий. Закаленный.

— Новенькие? — спросил один из них, коренастый мужчина с окладистой, покрытой пеплом бородой и глубоким шрамом через левую бровь. Голос его был груб, но не зол. — Откуда?

— С университета, — ответил я, чувствуя себя вдруг тем самым бесполезным интеллигентом, каким меня всегда считали в фильмах-катастрофах.

— Университет? — он хмыкнул. — Книжки, значит. Ну, тут вам не библиотека. Тут жизнь другая. Кто второй?

— Анна, — ответила она за себя, гордо вскинув подбородок, несмотря на хромоту и перепачканное сажей лицо. — Я медик.

Слово «медик» произвело магический эффект. Взгляды смягчились. Бородач кивнул.

— Медик — это хорошо. Нам позарез нужны руки, а особенно головы, которые знают, что делать с ранами. А то у нас тут один бывший ветеринар, так он всех людей лечит, как коров. Идемте. Отведем вас к Смотрящему. Он решает, кто остается, а кто уходит.

Смотрящий. Мне сразу не понравилось это слово. Слишком оно отдавало сектантством, иерархией, тем самым утопическим текстом, который в моей голове всегда заканчивался одинаково. Но выбирать не приходилось. Мы последовали за бородачом, пробираясь через импровизированный лагерь. Я смотрел по сторонам, и моя привычка анализировать, выискивать смыслы включилась автоматически. Люди здесь были разные. Семьи с детьми, которые жались к родителям, глядя на мир огромными, испуганными, но все еще живыми глазами. Одиночки, заросшие, с безумными искрами в зрачках. Группы мужчин, явно организовавшихся в отряды. Все они были объединены одним — выживанием. Но над всем этим лагерем, над этими кострами и этим пеплом, витало нечто невысказанное, какая-то напряженность, какой-то страх, смешанный с благоговением. И я понял его источник, когда мы подошли к провалу, из которого дул ветер.

Это был не просто провал. Это был колодец. Идеально круглый, словно высверленный гигантским буром, он уходил вертикально вниз, в абсолютную, непроглядную черноту. Края его были не рваными, а оплавленными, гладкими, как стекло. Из него-то и вырывался тот самый аномальный ветер. Он дул снизу вверх, мощный, ровный, тёплый. И он нес пепел. Бесконечный, хлопьеобразный пепел, который поднимался из земных недр, разлетался по станции и оседал повсюду. У самого края колодца стоял человек. Смотрящий. Он был высок и худ, одет в длинное черное пальто, которое странно контрастировало с окружающей грязью и разрухой. Его лицо было бледным, аскетичным, с тонкими, бескровными губами и горящими, темными глазами. Он не смотрел на нас. Он смотрел в колодец, в самую его сердцевину, словно видел там нечто, недоступное нашему зрению.

— Смотрящий, — негромко позвал бородач. — Еще двое. Говорят, из универа. Одна — медик.

Человек в пальто медленно, очень медленно обернулся. Его взгляд скользнул по мне, не задержавшись, и остановился на Анне. Он смотрел на нее долго, изучающе, как энтомолог смотрит на редкую бабочку.

— Медик, — произнес он тихим, свистящим голосом. — Это дар. Здесь, на пороге, нужны те, кто может исцелять тело. Но что вы знаете об исцелении души?

— Ничего, — честно ответила Анна, не опуская глаз. — Но я знаю, как наложить шов и остановить кровотечение. Это пока важнее.

Тонкая улыбка тронула его губы. Он перевел взгляд на меня, и мне стало не по себе. В этих глазах не было злобы, но не было и ничего человеческого. Только холодное, оценивающее любопытство.

— А вы... ученый. Историк? Философ? — он чуть склонил голову набок. — Вы смотрите и ищете смысл. Я прав?

— Прав, — признал я. — Я изучал тексты. Пытаюсь понять, что произошло.

— Пытаетесь понять, — он кивнул, словно соглашаясь с какой-то своей внутренней мыслью. — Это хорошо. Это правильный путь. Потому что это, — он сделал широкий жест рукой, обводя и колодец, и станцию, и весь наш разрушенный мир, — это и есть текст. Самый великий и самый страшный текст из всех, что были написаны. Текст, который читает нас, а не мы его. Вы это понимаете, ученый?

Я молчал. Его слова попадали в самое яблочко моих ночных кошмаров, в самую суть той теории, которую я начинал разрабатывать еще тогда, в подвале библиотеки, пока мир умирал.

— Я пришел сюда, ведомый ветром, — сказал он, снова поворачиваясь к колодцу. — Как и все мы. Ветры теперь — это не просто движение воздуха. Это дыхание истины. Они приходят из Центра и несут волю нового порядка. Чувствуете? Этот ветер говорит о преображении. О том, что старое должно сгореть дотла. Он поднимает пепел из самой глубины, из Сердца мира, чтобы мы помнили: все, что мы знали, мертво. И из этого пепла восстанет нечто совершенно иное.

Он замолчал, и мы все, повинувшись какому-то гипнотическому импульсу, уставились в черный зев колодца. Ветер выл свою бесконечную песню, и мне вдруг показалось, что я различаю в этом вое нечто членораздельное. Не слова, нет. Но интонации, ритмические рисунки, которые мой мозг, воспитанный на анализе текстов, судорожно пытался расшифровать. Анна крепче сжала мою руку. Ее пальцы были ледяными, несмотря на теплый ветер.

— О чем он поет, как ты думаешь? — прошептала она, едва слышно за шумом.

— О конце, — ответил я, не отрывая взгляда от пляшущих в потоке воздуха черных хлопьев. — И о том, что после конца. Он поет о том, чему еще нет названия.

И ветер, словно услышав мои слова, взвыл с новой силой, швырнув нам в лица целую пригоршню горького, колючего пепла. Это был ответ. И ответ этот мне не понравился.

## Глава 4. В которой мы шьем доспехи из страха

Лагерь на «Маяковской» жил по своим, пока еще зыбким, но уже угадываемым законам. Смотрящий, чье настоящее имя никто не знал, был не вождем в привычном смысле — он не раздавал приказов, не карал и не миловал. Он был именно тем, кем себя называл: Смотрящим. Он смотрел в колодец, он слушал ветер и время от времени изрекал короткие, туманные фразы, которые его приближенные, вроде бородача по имени Савелий, толковали как руководство к действию. Так формировалась странная, текучая иерархия — не политическая и не военная, а почти религиозная. Я, как ученый, смотрел на это с холодным, цепким интересом. Мой разум, изголодавшийся по объекту анализа, вцепился в этот социум, как в кость. Зарождение нового культа. Семиотика утопии в действии. Я видел, как рождаются ритуалы, как создаются символы, как хаос пытается упорядочить себя сам, отчаянно нуждаясь хоть в какой-то смысловой конструкции. И ветер из колодца был центральным символом, осью, вокруг которой все вращалось. Пепел, который он нес, считался священным прахом, дыханием преображения. И никто, ни одна душа, не решался спуститься в колодец или хотя бы приблизиться к его краю, кроме Смотрящего. Это было табу.

Нас с Анной приняли. Ее почти сразу поставили к делу — в медицинский угол, отгороженный грязными простынями, где бывший ветеринар дядя Коля лечил переломы с помощью шин из обломков мебели, а ожоги мазал какой-то вонючей мазью собственного приготовления. Раны были разные: у кого-то порезы от битого стекла, у кого-то странные, долго не заживающие язвы, похожие на обморожения, хотя кругом было тепло. Анна, с ее еще не забытыми университетскими знаниями, сразу стала незаменимой. Она умела накладывать швы, знала дозировки обезболивающих, умела распознавать симптомы внутреннего кровотечения. Я смотрел на нее, склонившуюся над очередным пациентом, и видел не ту испуганную девушку, которую встретил в разрушенном доме, а собранную, жесткую женщину с умелыми руками и спокойным голосом. Страх никуда не ушел, он просто переплавился в топливо для действия.

А я... я остался не у дел. Мои семиотические изыскания здесь, среди людей, борющихся за физическое выживание, казались насмешкой. Я пытался помогать: таскал воду (ее добывали из лопнувшей трубы на соседней станции), разбирал завалы, стоял в ночной страже. Но все это я делал плохо, неумело, и, что хуже всего, я чувствовал себя лишним. Это чувство жгло изнутри сильнее, чем голод. Я привык быть нужным благодаря своему интеллекту, а здесь интеллект не требовался. Здесь требовались сила, выносливость и практические навыки. Всего этого у меня не было.

И вот, на четвертый день нашего пребывания в лагере (я начал вести счет времени, делая зарубки на куске штукатурки), случилось то, что изменило все. Из одного дальнего туннеля, который считался опасным и куда было запрещено ходить, вернулась поисковая группа. Обычно они приносили еду — консервы с разграбленных складов, иногда лекарства. Но на этот раз их лица были мрачнее тучи. Они притащили три тела. Вернее, то, что от них осталось. Люди были мертвы, но смерть их была не похожа ни на что, виденное нами ранее. Их кожа покрылась жуткими, сочащимися волдырями, волосы выпали, а глаза превратились в мутные бельма. Они умерли в страшных мучениях, и, как рассказал один из выживших разведчиков, смерть настигла их в течение нескольких минут после того, как они зашли в старый, заброшенный бункер, расположенный за чертой станции «Белорусская».

— Там... там что-то не так, — бормотал разведчик, молодой парень с трясущимися руками, пока Анна осматривала и его, проверяя на наличие симптомов. — Воздух там густой, горячий. Мы только дверь открыли, а на них... на них как будто невидимый огонь набросился. Они кричали, катались по полу, а кожа слезала лоскутами.

— Что было в том бункере? — спросил Смотрящий, который, как всегда, появился бесшумно, словно соткался из теней и пепла.

— Мы не знаем. Какие-то старые ящики, бочки. Знаки на стенах. Мы не успели рассмотреть. Мы их за ноги вытащили, а дверь сразу захлопнули.

Смотрящий долго молчал, глядя на три обезображенных тела. Затем он поднял глаза на меня, и в его взгляде я прочитал вызов.

— Вот, ученый, — сказал он тихо, но так, что слышали все. — Ты хотел понять текст нового мира. Вот тебе первый абзац. Невидимая смерть. Горячий воздух. Что скажешь? Можешь истолковать?

И тут, под этим пристальным, почти издевательским взглядом, в моей голове что-то щелкнуло. Обрывки знаний, почерпнутые из научно-популярных книг, документальных фильмов, статей, которые я, как любой образованный человек, поглощал в прежней жизни, сложились в единую, пугающую картину. Волдыри, выпадение волос, быстрая смерть, горячий воздух, старый бункер, знаки на стенах. Острая лучевая болезнь. Радиация. Нет, не та, что от атомной бомбы. Взрыва не было. Но бункер... Что, если катастрофа, уничтожившая наш мир, была не только семантической, не только «сворачиванием свитка» реальности, но имела и вполне физические последствия? Что, если пространство не просто исказилось, а треснуло, и в эти трещины хлынуло нечто, чего на Земле быть не должно? Или, наоборот, то, что всегда было глубоко под землей, вышло на поверхность?

— Радиация, — произнес я вслух, и мой голос прозвучал хрипло и неуверенно. — Или что-то очень на нее похожее. Ионизирующее излучение. Оно невидимо, не имеет запаха, но убивает клетки тела.

По толпе пробежал ропот. Слово «радиация» было знакомо каждому, оно было плотно вшито в культурный код нашего поколения, порождая образы Чернобыля, зон отчуждения, скрытой угрозы. Смотрящий чуть прищурился.

— И что же нам делать, ученый? Уйти отсюда? Бросить лагерь?

— Нет, — я покачал головой, и вдруг почувствовал небывалый прилив энергии. Вот он, мой шанс. Шанс доказать, что мой мозг чего-то стоит. — Уходить, возможно, некуда. Если такие бункеры разбросаны по всему городу, а возможно, и по всей стране... это лотерея. Мы можем нарваться на такой же где угодно. Нужно не убегать от угрозы, а научиться с ней взаимодействовать. Нам нужна защита. Нам нужен костюм.

Слово было сказано. Идея, безумная и дерзкая, зажглась в моем сознании. Радиационный костюм. Защитный костюм. В прежнем мире для этого существовали целые институты, сложные технологии, свинец, полимеры. У нас не было ничего этого. Но у нас было кое-что другое — неограниченный доступ к ресурсам мертвого мегаполиса и отчаянная воля к жизни. Я начал рассуждать вслух, и чем больше я говорил, тем более реальной казалась эта затея. Альфа-излучение задерживается листом бумаги. Бета-излучение — слоем алюминия. Гамма — тут нужна масса, плотность. Свинец. Где взять свинец? Старые аккумуляторы, оболочки кабелей, рыболовные грузила. Но сначала нужно подтвердить мою догадку. Нужен детектор. И нужен материал для самого костюма — плотный, который можно сделать герметичным, не

пропускающим радиоактивную пыль. Прорезиненная ткань, брезент, что угодно, что можно найти на складах.

Моя речь, сбивчивая и взволнованная, произвела неожиданный эффект. Люди, которые до этого смотрели на меня как на бесполезный довесок, теперь слушали с напряженным вниманием. Савелий задумчиво теребил бороду. Анна, вышедшая из-за своих простыней, смотрела на меня с надеждой и гордостью. А Смотрящий... он молчал. Он просто стоял и смотрел, и на его тонких губах играла та самая загадочная полуулыбка.

— Дерзай, ученый, — сказал он наконец. — Бери людей, бери все, что нужно. Посмотрим, что у тебя получится. Может быть, этот текст ты сможешь не только прочитать, но и написать.

Начались дни, а может быть, и недели, лихорадочной, изнурительной работы. Я возглавил проект, и это было самое странное научное исследование в моей жизни. Моей лабораторией стал зал ожидания станции, заваленный горами хлама, добытого в вылазках. Моими ассистентами — добровольцы, согласившиеся помочь. Среди них нашелся бывший электрик, который понимал в схемах, и старик-часовщик, руки которого были способны к тончайшей работе. Мы начали с детектора. Теоретически, простейший счетчик Гейгера можно было собрать из подручных материалов, но нам не хватало главного — самой трубки. И тут меня осенило. Не обязательно измерять радиацию напрямую. Можно измерить ее последствия. Я вспомнил о фотопленке. Радиация засвечивает пленку. Мы нашли в одном из разрушенных магазинов десятки одноразовых фотоаппаратов с неиспользованной пленкой. Электрик спаял простую схему со светодиодом и фотоэлементом. Мы поместили кусочки пленки в светонепроницаемый корпус, поднесли к останкам погибших разведчиков (их тела мы, следуя строжайшим мерам предосторожности, не трогали руками, используя длинные палки), и пленка потемнела. Индикатор сработал. Догадка подтвердилась.

Теперь нужно было сделать костюм. Мы перерыли все, что можно. Склады спецодежды на разрушенных заводах, пожарные депо, подвалы больниц. Мы нашли прорезиненные рыбацкие костюмы, толстый брезент, рулоны технического полиэтилена. Для защиты от гамма-излучения нужен был свинец. Мы нашли его в старых автомобильных аккумуляторах, которые свозили со всего района. Плавить свинец было опасно, но мы соорудили примитивную печь из кирпичей, и часовщик отливал тонкие, гибкие пластины, которые мы потом вшивали между слоями брезента. Это был адский труд. Каждый кусочек свинца, каждая прошитая нитка давались с потом и кровью. Воздух в нашей мастерской пропитался запахом плавленого металла и машинного масла. Но мы работали, забывая о сне и еде. Впервые с момента катастрофы у меня была цель, не связанная с простым выживанием. Цель, возвращавшая мне мое человеческое достоинство. Я не просто спасал свою шкуру, я создавал инструмент, который спасет других.

Анна приходила к нам каждый вечер. Она приносила воду и скудную еду, осматривала наши руки, израненные и обожженные. Она мало говорила, просто садилась в угол и смотрела на меня. И в этом молчании было больше поддержки, чем в тысяче ободряющих слов.

— Знаешь, — сказала она однажды, когда мы остались вдвоем над почти готовым первым экземпляром, — ты изменился. Теперь ты не просто смотришь. Ты действуешь.

— Я просто пытаюсь не сойти с ума, — честно признался я, разглядывая неуклюжий, громоздкий костюм, больше похожий на водолазный скафандр девятнадцатого века, чем на современное средство защиты. Он был тяжелым, неудобным, и мы понятия не имели, обеспечит ли он реальную защиту от той невидимой смерти, что подстерегала в бункерах.

— Все мы пытаемся, — она взяла меня за руку, и ее пальцы на этот раз были теплыми. — Но у тебя получается лучше всех. Ты возвращаешь людям надежду. Не словами, а делом.

Наконец, день испытаний настал. Мы вынесли костюм на середину платформы. Все жители лагеря собрались посмотреть. Костюм, приземистый и устрашающий, с самодельным шлемом, в который было вставлено стекло от старого телевизора, найденное и обрезанное часовщиком, стоял, словно идол нового, технологического культа. Вызвался доброволец — тот самый молодой парень, который видел смерть своих товарищей. Он хотел отомстить невидимому врагу, хотел доказать, что страх можно победить. Савелий и еще двое мужчин помогли ему облачиться в доспехи. Это было долго и мучительно. Мы заклеили все швы широким скотчем, натянули на спину самодельный ранец с воздушным фильтром из марли и угля.

Я лично проверил все застёжки, все соединения. Мое сердце колотилось так, что, казалось, его слышит вся станция. Если костюм не работает, это будет значить, что все наши труды пошли прахом. Но что еще хуже — это будет значить, что разум и наука бессильны перед лицом этого нового безумного мира. Что единственный путь — это путь Смотрящего, путь молчаливого созерцания бездны.

— Готов? — спросил я у добровольца. Его лица за мутноватым телевизионным стеклом было почти не видно.

— Готов, — раздался глухой, искаженный голос. Он неуклюже поднял руку в толстой свинцовой перчатке и сжал кулак.

Он ушел в туннель на «Белорусскую» в сопровождении двух вооруженных разведчиков, которые должны были ждать его у входа в опасную зону. Время потянулось, как резина. Люди на платформе не расходились. Они сидели и стояли молча, глядя в темный зев туннеля. Анна держала меня под руку, и я чувствовал, как напряжены ее мышцы. Даже Смотрящий вышел из своего укрытия и застыл у края колодца, впервые оторвав взгляд от танцующего пепла. Тишина была такая, что слышно было, как потрескивают угли в кострах и как воеет, завывает далекий аномальный ветер, несущий свой вечный пепел.

Прошел час. Затем два. Я уже начал терять надежду, представляя самое худшее. И вдруг из туннеля раздался крик. Крик радости. Мы все вскочили. Из черного проема показались разведчики, и между ними, поддерживаемый под руки, шел наш доброволец. Он снял шлем, и его лицо, бледное, покрытое потом, сияло. Он был жив! Костюм работал. Он дошел до бункера, открыл дверь, пробыл внутри несколько минут и даже умудрился вынести оттуда небольшой ящик, который нес сейчас в руках — покрытый пылью, с непонятными символами, но главное, материальное доказательство победы.

Лагерь взорвался ликованием. Люди кричали, обнимались, плакали. Это была первая, крошечная, но такая важная победа над безумием нового миропорядка. Победа человеческого гения над безликим ужасом. Я смотрел на этот триумф, но моя радость была неполной. Потому что в тот самый момент, когда я должен был торжествовать, я заметил взгляд Смотрящего. Он не радовался. Он смотрел на меня, и в его темных глазах я прочитал нечто, от чего по спине пробежал холодок. Это не была зависть или злоба. Это было глубокое, философское разочарование. Разочарование в том, что я выбрал путь познания и защиты, а не путь приятия и поклонения тайне. И я понял: в нашей маленькой общине наметился раскол. Один текст столкнулся с другим. И это столкновение не сулило ничего хорошего. Потому что, как известно любому семиотику, за битву означающих всегда платят означаемые. Платят кровью и жизнями.

И наш спасительный костюм, наш доспех, сшитый из страха, мог в одночасье стать нашей погребальной пеленой.

## Глава 5. В которой слово становится пулей

Ящик, принесенный добровольцем из радиоактивного бункера, стал вторым солнцем нашего лагеря. Вокруг него немедленно сложился свой, особый ритуал. Смотрящий потребовал, чтобы артефакт принесли к краю колодца и оставили там на ночь — «дабы ветер истины счел с него старые смыслы». Я не стал спорить, хотя во мне все кипело от этого мракобесия. Но я уже усвоил первый закон выживания в новом мире: не конфликтуй с верой, если не можешь предложить взамен ничего, кроме сомнения. Сомнение здесь ценилось дешево, почти ничего не стоило. А мне нужно было копить авторитет для другого.

Ящик пролежал у провала трое суток. Пепел оседал на его боках, ветер выл над ним свои монотонные песнопения, а люди приходили смотреть на него, как на мощи святого. Я же изучал его издали, с холодным, почти клиническим интересом. Это был военный кофр старого образца, примерно семидесятых-восемидесятых годов прошлого века, из толстого, армированного стеклопластика, с металлическими уголками и опечатанный свинцовой plombой. На боку трафаретом были выведены буквы и цифры, частично стерты, но читаемые: «ГРАУ-индекс 7-Н-...» — дальше шла царапина. И ниже: «Хранить в условиях...», «Беречь от прямого...». Маркировка говорила о принадлежности к какому-то ведомственному арсеналу, явно не простому армейскому. Слишком много свинца, слишком сложный кофр для обычных патронов или взрывчатки. Мое воображение, подогретое обрывками знаний о советских военных программах, рисовало самые мрачные картины.

Когда период ритуального «очищения» закончился, Смотрящий дал разрешение на вскрытие. Мы собрались в кругу у костра. Вскрывать поручили мне, как «ученому, понимающему язык старых текстов». Я взял монтировку, чувствуя на себе взгляды десятков людей, и аккуратно, стараясь не повредить содержимое, взломал plombу. Крышка подалась с тяжелым, утробным вздохом, словно внутри находился миниатюрный вакуум. Из кофра пахло машинным маслом, озоном и еще чем-то, чему я не мог найти названия — чем-то стерильным и одновременно древним, как запах египетской гробницы, которую не открывали тысячи лет.

Внутри, в ложементх из потемневшего от времени поролонa, лежало то, что я поначалу принял за оружие. Но это не было похоже ни на один известный мне автомат или винтовку. Представьте себе гибрид снайперской винтовки и какого-то сложного геодезического прибора. Длинный, матово-черный ствол странного, не круглого, а гексагонального сечения. Приклад отсутствовал, его заменяла система амортизирующих упоров, явно рассчитанных на крепление к чему-то вроде экзоскелета. Вместо привычного магазина — цилиндрическая кассета, подключенная к оружию через толстый, бронированный кабель. И самое главное — оптика. Огромный, громоздкий прицельный комплекс, занимавший почти половину всего устройства, с множеством линз, призм и каких-то полупрозрачных пластин, которые слабо мерцали в свете костра, хотя никакого источника питания видно не было.

— Это винтовка, — сказал я, хотя мой голос прозвучал неуверенно. Слишком уж странным было это оружие.

— Вижу, что не швейная машинка, — хмыкнул Савелий. — Но зачем такая сложная? Тяжелая, неудобная. Наши обрезы из арматуры и то сподручнее.

Я не знал, что ответить. Мы начали разбираться. В кофре, помимо самого оружия, лежал технический паспорт — пожелтевшая книжечка, заполненная от руки, с грифом «Совершенно секретно» на обложке. Бумага была хрупкой, как осенний лист, и чернила кое-где выцвели, но основное прочесть было можно. Изделие именовалось «ВССК-11 "Резонатор"». Экспериментальный образец. Калибр не указан, вместо него стоял длинный буквенно-цифровой индекс, начинающийся с «СЧ» — «специальная часть». Назначение: «создание направленных акустических и сейсмических колебаний в теле цели с частотой, соответствующей резонансной частоте молекулярных связей органических тканей». И ниже, корявым инженерным почерком, приписка: «Концепция "информационной пули". Воздействие не кинетическое, а семантическое».

Семантическое. Это слово ударило меня под дых. Я перечитал его трижды, пока буквы не начали расплываться перед глазами. Это не могло быть совпадением. Семиотика утопических текстов, моя диссертация, моя бесполезная, мертвая наука — и вдруг она обретала плоть и кровь в виде этого чудовищного, холодного оружия. Люди, создавшие «Резонатор», мыслили в той же парадигме, что и я, но пришли к совершенно иному, ужасающему практическому применению. Они хотели создать оружие, которое убивает не тело, а смысл тела. Которое сообщает цели информацию о ее собственной смерти на таком фундаментальном уровне, что цель просто перестает существовать как связанная структура.

Я попытался объяснить это остальным, но видел, что они не понимают. Савелий крутил в руках кассету-магазин, электрик пытался разобраться в схеме питания, а Анна просто смотрела на меня с тревогой.

— Арсений, ты можешь сказать проще? — попросила она. — Оно стреляет?

— Стреляет, — кивнул я. — Но не пулями. Оно стреляет, грубо говоря, командой. Словом. Специальным кодом, который заставляет материю разрушаться на молекулярном уровне.

— Это как луч смерти из фантастики?

— Нет. Луч — это энергия. А это... информация. Представь, что ты говоришь человеку на ухо такую фразу, от которой его сердце останавливается просто потому, что мозг воспринял эту фразу как абсолютную истину о конце своего существования. Вот это — та же фраза, только переведенная на язык частот и направленная не в ухо, а прямо в клетки.

Повисла тяжелая пауза. Люди переглядывались. Бывший электрик присвистнул. Часовщик покачал головой, бормоча что-то о гордыне древних, которые хотели сравняться с Богом. Смотрящий, который все это время молча стоял в стороне, вдруг издал короткий, сухой смешок.

— Вот видите, — сказал он, обводя толпу рукой. — Вот что построили ваши предки. Оружие, которое убивает словом. Разве не об этом говорится в Писании? «В начале было Слово». А они создали слово, которое несет конец. Это ли не доказательство того, что старый мир был обречен на погибель? Они играли с основами бытия, не понимая их святости.

Его слова падали в благодатную почву. В глазах многих я видел страх и благоговейный ужас. Винтовка становилась еще одним священным предметом, только теперь со знаком минус. Предметом, который нельзя использовать, потому что он проклят знанием. Я понимал, к чему идет дело. Смотрящий объявит «Резонатор» табу, прикажет сбросить его в колодец или запечатать где-нибудь, и мы потеряем единственный козырь, который мог бы нас защитить. А то, что нам понадобится защита, я уже не сомневался. Мир за стенами метро не стоял на месте. Безликие, холодный свет, аномальные ветра, новые хищные формы жизни — все это множилось и наступало. Против них нужны были не обрезы из труб.

Я принял решение за одну ночь. Решение тяжелое, но необходимое. Я не мог допустить, чтобы винтовка стала музейным экспонатом в культе Смотрящего. Я должен был разобраться в ней, понять ее принцип, научиться ей пользоваться. И я знал, кто мне в этом поможет. Электрик, которого звали Дмитрий, и часовщик Илья Семенович. Первый понимал схемы, второй — точную механику и оптику. И оба, как мне казалось, в глубине души больше доверяли науке, чем проповедям.

Ночью, когда лагерь уснул, мы втроем уединились в нашей мастерской. Я изложил им свой план. Мы должны не просто изучить винтовку, мы должны попытаться воспроизвести ее принцип. Создать оружие нового поколения, основанное на наших, кустарных возможностях. Не такое мощное, не такое сложное, но работающее по тому же принципу — принципу информационной атаки. Дмитрий, почесав затылок, сказал, что сама идея генерации направленных частотных колебаний ему понятна. В гражданской жизни он работал с ультразвуковыми дефектоскопами и знал, как создавать резонанс в твердых телах. Илья Семенович заявил, что сможет собрать прицел, который будет визуализировать не цель, а «структурные напряжения» в ней, если мы подберем нужные линзы и поляризационные фильтры.

— Но нам нужен источник кода, — сказал я. — Сама «фраза», которая убивает. С чего нам ее взять?

— А с него и возьмем, — Дмитрий кивнул на «Резонатор». — У него же есть магазин. Кассета с записанным сигналом. Если мы сможем его считать, оцифровать, пусть даже на примитивном уровне, мы сможем понять структуру. А дальше — эксперименты. На чем-нибудь... на ком-нибудь.

Последние слова он произнес с запинкой. Все мы понимали, что это значит. Нам нужен был подопытный материал. Живой. И я ненавидел себя за то, что первой моей мыслью было: «В туннелях много крыс». Всего несколько недель назад я был мирным ученым, который бледнел при виде крови. А теперь я был готов ставить опыты на живых существах, чтобы создать оружие. Граница между мной и теми безымянными инженерами из секретного КБ, создавшими «Резонатор», стремительно стиралась.

Мы работали неделями. Это была гонка со временем и с собственной совестью. Сначала мы разобрали «Резонатор» до винтика, тщательно зарисовывая и записывая каждую деталь. Это был шедевр инженерной мысли, опередивший свое время лет на пятьдесят. Источником питания служил миниатюрный радиоизотопный генератор, который, к нашему изумлению, все еще работал, хотя и на остаточном ресурсе. Дмитрий сказал, что трогать его смертельно опасно, и мы заключили его в дополнительный свинцовый кожух. Кассета содержала нечто вроде магнитной ленты, но запись на ней была не аналоговой и не цифровой в привычном понимании. Это был модулированный сигнал сверхвысокой частоты, который при считывании создавал интерференционную картину, и именно эта картина, будучи направленной через сложную систему призм на цель, и производила разрушительный эффект.

Нам не удалось полностью расшифровать код. Это было за пределами наших возможностей и наличного оборудования. Но мы смогли записать фрагмент этого сигнала на самодельное устройство, собранное из деталей от старых магнитофонов, больничного генератора УВЧ и микросхем, выпаянных из мобильных телефонов. Получилось громоздкое, уродливое сооружение, которое мы окрестили «Камертон». Оно не убивало. Оно не разрывало молекулярные связи. Но оно заставляло их вибрировать. Когда мы направили луч нашего «Камер-

тона» на камень, камень нагрелся и пошел трещинами. Когда мы направили его на консервную банку, она начала гудеть и вибрировать так, что с нее слезла краска. Когда мы направили его на стаю крыс, пойманных в туннелях, крысы бросились врассыпную, издавая душераздирающий писк, а одна, самая крупная, забилась в конвульсиях и издохла. Вскрытие, проведенное Анной (которую мы, скрепя сердце, посвятили в нашу тайну), показало множественные внутренние кровоизлияния, как от сильнейшей баротравмы. Принцип работал. Мы создали оружие. Пусть слабое, пусть примитивное, но оружие, основанное на том же принципе, что и «Резонатор». Оружие, которое стреляло не свинцом, а смыслом.

Анна была в ужасе от того, что мы делаем. Она понимала необходимость, но ее душа врача противилась самому факту создания инструмента для убийства. Она смотрела на наши чертежи, на издохшую крысу, на «Камертон» и говорила:

— Вы создаете то, что погубило этот мир. Холодное, бесчеловечное знание, превращенное в разрушение. Посмотрите на «Резонатор». Ведь он — дитя той же логики, что разорвала небо на куски.

— Нет, — отвечал я, хотя в глубине души знал, что она отчасти права. — Это другое. То была стихия, слепая сила, которая просто смела нас как вид. А это — инструмент. Мы не можем договориться с Безликими. Мы не можем спрятаться от радиации. Мы можем только защищаться. И чем лучше мы вооружены, тем выше наши шансы не просто выжить, а остаться людьми.

Последний аргумент был спорным. Останемся ли мы людьми, вооружившись такими дьявольскими машинами? Сейчас я и сам не мог ответить на этот вопрос. Но я знал другое: Смотрящий прознал о нашей ночной деятельности. Его тени, его верные уши и глаза уже донесли ему, что ученые не просто изучают святыню, а создают ее копии. И по его холодному, всезнающему взгляду, который он бросил на меня утром у колодца, я понял: терпение его заканчивается. В воздухе запахло конфликтом, гораздо более опасным, чем любая радиация. Конфликтом за власть над душами выживших. И в этом конфликте наша новая винтовка, наш «Камертон», могла стать как нашим спасением, так и нашей погибелью.

## Глава 6. В которой исцеление требует жертв

После испытаний «Камертона» я думал, что самое страшное уже позади. Я ошибался. Мы создали оружие, способное убивать на расстоянии, но совершенно упустили из виду простую, банальную истину: война — это не только про то, как стрелять. Война — это про то, как выживать после выстрела, направленного в тебя. Истина эта обрушилась на нас самым прозаическим и самым кровавым образом.

Все случилось на очередной вылазке. Группа Савелия ушла за медикаментами в район станции «Курская», где, по слухам, сохранился нетронутый склад аптечного распределителя. Мы с Анной остались в лагере — она возилась с больными, я доводил до ума схему питания «Камертона», пытаясь увеличить его дальнобойность. Работа спорилась. Мне даже начало казаться, что мы входим в какую-то колею, что хаос понемногу отступает перед напором человеческой воли и разума.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.